

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХИ

Храню зачем-то старые подшивки,
прощая всё, в чём путают и врут.
Там все герои умершие живы,
здоровы и не знают, что умрут.

Там прокурор Григорьев бодро судит,
железно соблюдая статус-кво,
не ведая, что очень скоро будет
расстрелян возле дома своего.

Ещё незримо будущее злое.
Не развелись актёры и певцы.
Танцуют в клубах — ставшие золою,
сидят в домах невзорванных жильцы.

Ещё над ними не химичит Воланд
и Аннушка за маслом не спешит.
Максимов возглавляет "Серп и молот",
и Арлазоров публику смешит.

Ещё поёт о маме Толкунова,
Янковский усмехается в усы...
Замедли же с приходом, номер новый,
пойдите вспять, проклятые часы!

Остановись, газетная страница,
пусть вечно будет старое число,
зажатое в ладони, как синица,
пока беды ещё не принесло.

"Пропала кошка!!!" И три восклицательных знака.
Описание примет. И с компьютера фото.
Сколько любви и горя в этих, однако,
восклицательных знаках! Тоски, заботы.

Объявления, расклеенные всюду на даче, —
на деревьях, столбах, на слепом окошке.
Я шла и не замечала, что плачу
об этой, потерянной кем-то, кошке.

Жизнь всегда отнимает, что сердцу близко.
Как выжить ему без тёплого тельца?
Пожалуйста, люди, найдите киску!
Верните её, умоляю, владельцу!

Жара 2010-го!
О, что ты делаешь с людьми?!
Любого, духотой распятого,
кто хочешь — тёпленьким возьми.

К чему теперь парная, сауна?
В любую комнату войти —
и скоро превратишься в дауна.
А лето лишь на полпути!

Кто в этом пекле адском выживет?
Горят деревни, как дрова,
и, кажется, нутро всё выжжено,
как эта жухлая трава.

С утра в тени — под сорок. Муторно...
Не до друзей, не до врагов.
И пар клубится над компьютером
моих расплавленных мозгов.

О лето клятое, заслатое
из преисподней к нам — как знать?
В мороз 2010-го
тебя мы будем вспоминать.

И, может быть, с иными бедами
ты нам покажешься родней...
Как Блок писал: "О, были б ведомы
нам хлад и мрак грядущих дней!"

И посему пусть нынче туго нам,
но норы истины упрямы:
жара — она к морозам с вьюгами,
июли — это к декаблям.

Всю ночь надо мною шумели деревья.
Их говор был полон добра и доверья.
В окошко стучались, стволы наклона,
шептались, ласкались, любили меня.

Я слышала: кто-то по-прежнему милый
меня вспоминает со страшною силой.
И билась душа сквозь объятия сна,
ей клетка грудная казалась тесна.

Зелёные, жёлтые, тонкие нити,
меня обнимите, к себе поднимите!

И вновь расступается вечная тьма,
и губы с трудом разжимаются: "ма..."

Мой адрес земной, электронный, небесный
тебе сообщаю в далёкую бездну.
Пришли мне, родная, незримый ответ
из мира, которому имени нет.

Слишком ласковый и трепетный для ветра
мои волосы ласкал средь бела дня.
Слишком яркий, слишком солнечный для света
фотовспышкой преследовал меня,

словно где-то сохранить хотел навеки...
Мне казалось, это сказка или сон.
Я смежала и распахивала веки.
Кто-то был со мною рядом, невесом.

Странный голубь, отвергая хлеба ломоть,
так осмысленно в глаза мои глядел,
словно он меня навек хотел запомнить
для каких-то недоступных высших дел.

Ледников души растапливалась залежь,
и прощалась кем-то вечная вина.
Я одна отныне знала, только я лишь,
настоящие их знала имена...

О молодость, вернись хоть на часок,
быть может, ты меня ещё застанешь.
Вновь слышу я твой тонкий голосок,
которым ты не раз меня обманешь.

Сверкнёшь улыбкой встречной, ослепя,
на старых плёнках или фотоснимках,
где я — ещё не знавшая себя,
где мы с тобой, о молодость, в обнимку.

Найди меня... Я здесь, невдалеке.
Нет, холодно... А вот уже теплее...
И снова, как когда-то, налегке —
в сырой туман, где парусник белеет...

Так в детстве просят: "Ёлочка, зажгись!"
О молодость, приходи из ниоткуда!
И вечно, глядя в розовую высь,
нам ждать её несбыточного чуда...

Жизнь становится вчерашнею,
словно старое кино,
словно тапочка домашняя,
что разношена давно.

Горьковатый привкус опыта,
поиск истины в вине.
Мир отпетый, но не допитый,
чуть виднеется на дне.

Победа (песня)

Приближается светлая мета.
Шарик вырвался в свод голубой.
О победа, победа, победа
над врагом, над судьбой, над собой!

Не допустим России урона.
Не поднимут голов палачи.
Но не раз от весеннего грома
будет вздрагивать сердце в ночи.

Что творят эти взрослые дети?
Нет планеты у нас запасной.
Полушария мозга в ответе
за беспомощный шарик земной.

Голос края и крови едины.
Различаю за кромкой корост, —
это лица, а это — личины,
вот народ, ну а то — лишь нарост.

А народ — он как Муромец с печки
если слезет однажды — держись!
Тополей величавые свечки
упираются в вечную жизнь.

О Россия, ты всё одолела!
Боль планеты стучится в груди.
Как у девочки в фартучке белом,
всё ещё у тебя впереди.

Заслоняюсь от вешнего света.
В небо шарик летит голубой...
О победа, победа, победа!
Вечный мир, вечный путь, вечный бой!

Недалёкие люди,
как же вы далеки
от мечтаний о чуде,
от вселенской тоски.

Далеки от невыгод,
слов "отвага" и "честь",
от всего, что не выпить,
не продать и не съесть.

Недалёкие люди,
невысок их шесток.
Нет огня в их сосуде.
Но мирок ваш жесток

к тем, кто иначе слышит.
Не сносить головы —
кто хоть чуточку выше
и прямее, чем вы.

Дутым авторитетам

Не устану с вас маски срывать
и надетые свитой короны,
не давая газетам соврать, -
голых идолов стаскивать с трона.

Забавляться, невольно следя,
помещая мурло ваше в "гугл",
как выходит весь воздух, свистя,
из надутых рекламою кукол.

Перед носом захлопнула двери.
Я одна в своём адском раю.
Никого не пущу браконьерить
в заповедном душевном краю.

Руки прочь от любимого мною!
Не спугни эту хрупкую дичь,
что навеки срослась с тишиною,
что лишь сердце способно настичь.

Здесь всё то, что болит неотвязно,
от чего отторгается смерть.
Здесь стихов моих дикое мясо —
слабонервных прошу не смотреть.

Нежность держала всегда в чёрном теле.
Не обняла, не поцеловала ни разу.
А теперь держусь без тебя еле-еле
и тоску глушу в себе, как заразу.

А теперь неотданное объятие душит,
радугой висит над моей головою.
Послушай мою наболевшую душу,
как она по ночам по-собачьи воет.

Я тебя обнимаю сквозь все преграды,
сквозь все утраты, года, столетья.
Как была бы тебе я безумно рада,
если б встретились на том свете.

Ночь чернеет неизвестностью в окно.
Я с тобой не говорила так давно.
И листочки, что печатал ты в тиши —
кладезь мудрости, заботы и души —
так давно ты мне уже не приносил.
Тосковать и вспоминать уже нет сил.
Как случилось, почему же так, родной?
Это я, всему лишь я тому виной.
Над балконом кружат стаями стрижи...
Я люблю тебя, что делать мне, скажи?!
Как вернуть, и досказать, и долюбить,
как себя или тоску в себе убить?
Ты на снимке незаметно улыбнись,
ты из детства мне явись или приснись.
А в мою уже навеки влиты кровь —
твои шахматы, и Волга, и любовь...

Я была для тебя всем миром,
с твоей жизнью всецело слитым.
А твоя — по моей — пунктиром,
незаметным прошла петитом.

Если б знать, что в себе убила!
Как неправильно, некрасиво, —
твоя жизнь — по моей — пробелом,
а должна была быть — курсивом.

Кусочек вяза за окном,
фонарным освещённый светом...

Мы говорим с ним об одном.
(Кто б знал — подумал бы: "с приветом").

"Привет, родной!" И — ветки взмах,
как жест: тревога и забота.
И шепчет, шепчет мне впотьмах
всеутешающее что-то...

"Я видела тебя во сне". —
Кивок и трепетанье веток.
И силуэт его в окне
тихонько глажу напоследок.

Бегония, бегония
сполохами объята,
как будто бы в огонь её
рука швырнула чья-то.

Большая, крупнолистная,
в бутонах хаотичных,
она цветёт неистово
и даже эротично.

Бегущая побегамы,
растущая без спроса,
свалившаяся с неба мне
как лето средь мороза,

бегония, бегония,
ты мой восход вчерашний,
ты то, за чем в погоне я,
безудержной и зряшной.

Журавль и цапля, цапля и журавль,
любви и самолюбий поединок.
Сизифово занятие — не правда ль —
замёрзших душ растапливанье льдинок?

Жизнь "да" и "нет" качает на весах.
Соприкоснуться, чтобы оттолкнуться
и, покружив в холодных небесах,
вновь в камыши чужой души вернуться.

А обрета, удариться в бега...
Чуть встретишь — рвёшься прочь (привет Марине).
И рвутся позывные сквозь века
в надежде-страхе, что их кто-то примет.

Журавль и цапля... Счастье в волоске.
Извечное путей несовпадение.
И тянут шеи тонкие в тоске
туда, где брезжит паруса виденье,
что вечно одинокий вдалеке.

Горе горячее, горе горячее,
что, обжигаясь, за пазуху прячу я,
жжёт и терзает лисёнком грудным.
Вам же лишь виден стихов моих дым.

Я на высокой горе горевала
и лепестки, торопясь, отрывала
сердца ромашки-календаря,
чтобы летели вам в руки, горя.

Фантазии в платяницах бальных,
мечты о несбыточной мгле...
Держаться за то, что реально,
за то, что притянет к земле.

Цепляться за мелочи быта,
хватаясь за выступ перил,
обломки всего, что разбито,
что мир нам когда-то дарил.

Вот хлеб. Ты голодная, да ведь?
А к чаю — халва и драже.
Вот ножик... Отставить, отставить!
И так по живому уже.

Цветок... Но припомнится роща.
Картина... Тот вечер зимой.
О нет, что пониже, попроще,
поближе к опоре земной.

Держаться за то, что конкретно,
за то, что уже не предаст:
за письменный стол, табуретку,
бокал, алюминиевый таз,

за коврик собачий в прихожей,
за мир, что кругом одинок.
Держи же, соломинка Божья,
а почва ушла из-под ног...

Дом, построенный из снов,
щепок от былых основ,
веток, облетевших вмиг,
косточек карманных фиг,
дом из пуха и пера
птиц, убитых для костра,
из осколков Аонид,
нитей, что плетёт Аид,
из сыпучего песка...
Дом по имени Тоска.

А был ли в реальности мальчик?
О да, без сомнения, был.
Но что-то с годами всё жальче
впустую растроченный пыл.

Устала душа возвращаться
к обломкам разбитых корыт.
Она научилась прощаться,
не плача при этом навзрыд.

И чувство, что стало обузой
и грузом, с которым — на дно,
ночами беседует с Музой:
зачем оно было дано?

Кормила души своей кровью,
но волка тянуло в леса.
Застыло из строчек надгробье
над тем, что ушло в небеса.

Раскрытая хлопает дверца
и звук тот разит наповал.
Гнездо опустевшее сердца
зияет как чёрный провал.

*Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу...*

Б. Ахмадулина

Ты зонт не отпустишь, о нет...
А если отпустит прохожий —
поймаешь... Зонт нынче в цене.
Но где же ты прежний, о Боже?!

Кто мог всё отдать и забыть,
с душой, обожжённой запалом,
взахлёб и творить, и любить —
по лужам, по струнам, по шпалам!

Как жизнь обтесала тебя,
под сердце всадив ножевое,
скульптурное что-то лепя,
где плакало тонко живое...

Ракушка

А.С.

Бывший мальчик одинок.
Он лежит в своей квартире,
как ракушка, пав на дно,
затерявшись в этом мире.

Дом его пустынь и гол.
Но прижми ракушку к уху —
и улышишь гомон волн
о счастливых тайнах духа.

Ничего не говори.
Слово — звук фальшивой ноты.
Только море до зари
шепчет истинное, кто ты.

Было счастье — лишь миг...
Мир безлюден и изгажен.
Ты к щеке её прижми —
лишь она всю правду скажет.

*Что же ты гуляешь, мой сыночек,
одинокий, одинокий?..*

Б. Окуджава

Чужая покойная мама
ко мне приходила во сне.
Страданья застывшая магма
опять оживала в огне.

Она шевелила губами...
Я слов разобрать не могла,
но сердцем, болевшим по маме,
я их понимала дотла.

"Я знаю, — я ей отвечала, —
у Вас тут остался сынок.
По Вам он скучает ночами,
в дому и в миру одинок.

Вы стали ему снегопадом,
лучом, озаряющим мглу...
Не плачьте, прошу Вас, не надо.
Я сделаю всё, что смогу".

Прохладою ветер повеял,
и я увидала с земли,
как шла она рядом с моею,
и след их терялся вдали...

Душа притомилась? Присядь на пенёк.
Испей родниковой водицы.
Любой, даже пасмурный этот денёк
для жизни твоей пригодится.

Нам всё для чего-то на свете дано.
Всё в корм и судьбе на потребу.
И даже когда приближается дно —
тем ближе душа твоя к небу.

Я жила как во сне, в угаре,
слыша тайные голоса.
А любила — по вертикали,
через головы — в небеса.

Бьётся сердце — должно быть, к счастью...
Сохраняя, лелея, для,
всё ж смогла у судьбы украсть я
два-три праздника, года, дня.

Умирая, рождалась вновь я,
поздравляя себя с весной,
с беспросветной своей любовью,
той, что пишется с прописной.

Зов души звериный,
ну а плоть — легка...
Взбитые перины —
словно облака.

Бремя или шалость?
Трепет или страх?

Всё перемешалось
в доме и в мирах.

Нежности кромешность
в отсветах эпох...
Святость или грешность?
Дьявол или Бог?

Губы или локти?
Пламя или сосуд?
Крылья или когти
жизнь мою спасут?

Город мой, ты меня слепил
из снегов и степного пекла,
из затишья родных могил,
шума Кировского проспекта.

Ты любил меня, как дитя,
и растил в коммуналках ясель,
воедино во мне сведя
все концы своих разногласий.

И звучал во мне твой мотив
под оркестр сердечных скрипок,
навсегда к себе прилепив
влажгой Волги и лаком липок.

Дождик прыснул в кулачок, —
отпрыск облачка и сини,
влажной радости клочок,
и — клешни тоски бессильны.

Дождик, лучик, лопоток,
платье, мокрое в облипку.
Ты — как юности глоток,
как нежданная улыбка.

Нити длинные снуют,
пальцы тонки, иглы колки,
и сшивают жизнь мою
наживую, без иголки.

В тумане слёз, в дыму потерь
не видно будущего света.
И жизнь срывается с петель,
летя куда-то в бездну Леты.

Родные призраки во сне
приходят редко, душу грея.
И телефон звонит по мне,
как колокол Хемингуэя.

Я брать его не тороплюсь
и слушаю его напевы,
как будто сплю или молюсь...
О голоса родные, где вы?

Безымянное что-то зовёт, и манит, и болит.
Неизбывность любви? Тени прошлого? Ты ли, Эвтерпа?
Я хочу, я могу, я спешу, но боюсь, что лимит,
мне отпущенный Богом и Чёртом, почти что исчерпан.

Напрягая все силы души — в синеокую даль...
Но не видно нигде там убежища нового Ноя.
Не ответят ни звёзды, ни Даль, ни любой календарь,
что же будет со мною, с тобою, странною, землёю...

Окна — настезь. Не завешиваю свет,
словно Высший ожидаючи визит.
Зависает как компьютер Твой ответ
на вопрос, который радугой висит.

И не впрок уму преподанный урок,
жизни скушное кашне или клише.
Прочитаю меж небесных синих строк
то, что хочется и колется душе.

*Который час? — его спросили здесь.
А он ответил любопытным: вечность.*
О. Мандельштам

Секундная радость, минутная боль
и стрелка тоски часовая...
Дадут ли они надышаться тобой,
дамокловой мглой нависая?

Торчат на лице циферблата усы, —
что в них мне, не злых и не добрых,
когда моё сердце стучит, как часы,
в твоих раздающихся рёбрах...

Часы наблюдать? Впрошась из окна,
какое там тысячелетье?
Зачем, когда вечность без дна и без сна
грудной сохраняется клетью?

О вневременное! Во мне твой уклад.
Блаженно смежаются веки...
Разбейте мобильник, ТВ, циферблат!
Навеки... навеки... навеки...

Идти напрямик, по дорогам, оврагам,
кладбищенским тропам, лесным буеракам,
и думать о светлом большом Ниоём,
спустившийся мрак подпирая плечом.

В застенки маршруток, в качалку трамвая
душа не вмещается, клетки ломая.
Ей нужен простор, и побег, и полёт,
сквозь ночь или день, наобум, напролёт.

О как понимаю я эту потребу, —
пешком — через тернии — к тайному небу,
где сердце взлетает до солнечных врат
и мысли не знают табу и преград.

Прочь, печаль, кончай грызть мне душу, грусть.
Надо проще быть, как река и роща.
И к тебе навстречу я — наизусть,
постигая сердце твоё наощупь.

Пусть не замки из кости или песка,
пусть не крылья, а просто крыльцо и крынка.
Мне дороже один волосок с виска
твоего, чем птицы всех Метерлинков.

Я тебя люблю, замедляя, для
наши дни, свивая в их теле гнёзда.
Как стихи на строфы свои деля,
боль делю на звуки и ночь — на звёзды...

Износив себя до доньшка,
сердце радую обновой:
изменяю звёздам с солнышком,
а Цветаевой — с Тушновой.

Изменяю с лохом — умнице,
избранных сменив на прочих,

стихотворческому умыслу —
с замыслом небесных зодчих.

Время подменяет ценности,
да на нет, а плюс на минус.
Изменяю неизменности,
что, как в термосе, хранилась.

Пусть увижу солнце с пятнами,
пусть растрата и расплата,
но нельзя стреножить клятвами
то, что исстари крылато.

И, услыша зов откуда-то,
изменяю, изменяю,
своей сути, Богом вдунутой,
верность свято сохраняя.